

«ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ»

Посчастливилось мне грешному водить дружбу с фронтовиком Алексеем Зверевым ...Писатель тихого, светлого дара, для России маловедомый... судьбу которого запечатлел я в очерке «Люблю я сторону родную». В главе «Война отвратительна, но... породила братство» есть и о Викторе Астафьеве, в коем иркутский писатель-фронтовик души не чаял; и себя, и меня на военный лад почитал солдатами в литературе, а Распутина и Астафьева – генералами. Покаяюсь, мне не нравилось, у меня, двадцатилетнего, в заплочном ранце под солдатскими портянками томились генеральские погоны, и хотя не сгодились, но таились...

«...Уходила в память Гражданская война, утихомирился печально поредевший русский народ, и, вроде, оклемался, повеселел в азартном державном труде; но... не дремал сумеречный князь мира сего, ненавидящий Россию, остатний Божий приют на земле; и его холопы – христопродавцы, царящие в мире, – двинули на русские земли германскую орду. Великая Отечественная война... (...) «Война – дело отвратительное, тяжкое, – поминал Алексей Васильевич, – но Отечественная война породила и великое братство и товарищество, а посему до боли щемит сердце и бросает в тоску и в слезу, когда уходит из жизни военный друг...» (...) Странно ...а может, и ладно... но лишь тридцать лет спустя Алексей Зверев, солдат и писатель, заговорит в прозе о Великой Отечественной войне; явятся на свет одна за другой удивительные по силе переживания, по чистоте слова, простонародно мудрые повести «Выздоровление», «Раны», «Передышка». Видимо, нужны были тридцать лет, чтобы не так больно поминалась война, чтобы разглядеть трагедию, осмыслить ее при ярком и верном свете – свете любви Христовой. У Алексея

Васильевича христианское осмысление войны, даже без религиозной символики, интуитивное, было похоже на пробудившийся в душе голос православных предков.

Через тридцать лет начал стихать барабанный треск в военной прозе, крики «ура» на фоне штабной отчужденности от рядового солдата; стала уходить в небытие «генеральская» проза, потом «лейтенантская» и пришло время горькой «солдатской» прозы – страшной окопной правды, которая высветила всю непостижимую меру солдатских страданий, тем самым высветила и великий подвиг окопного война. А подвиг и был в том, чтобы пройти через ужасы, кровь и смерти, через холод и голод, через хаос войны, и остаться человеком, подобием Божиим.

Показывая «вшивую, окопную» правду войны, Алексей Зверев избежал беды, коя на старости лет постигла Виктора Астафьева в предсмертном романе «Прокляты и убиты», где с матерым мастерством писатель запечатлел ужас и мерзость войны, живописал и солдата, ходячего мертвеца, для коего положить душу за другие своя, за священную землю русскую – пустой звон политрука».

Тогдашние правители России, по велению Запада ополчившись на русский дух, на пушечный выстрел не подпускали к телевидению русофилов, подобных Белову, Распутину, Личутину, Проханову, Куняеву, впрочем, те и не рвались в совет нечестивых, и лишь Астафьев частенько гостил на российском телевидении, поскольку и в романе «Прокляты и убиты», и в телебеседах, телефильмах, и в письмах фронтовикам клял русское воинство, кое испокон веку *бездарно* воевало и в Отечественную войну *не победило германскую армию, а утопило в солдатской крови, заваляло трупами*.

«Уважаемый Александр Сергеевич! Ах, как жалко мне Вас огорчать на старости-то лет, да никуда от жизни не денешься. Я понимаю и Вас, и всех

других генералов наших, хвляющихся, ибо никто больше не похвалит. Не за что... Вы, и полководцы, Вами руководившие, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились и воевали в самой бездарной армии со времен сотворения рода человеческого. (А как же Святослав, покоривший все соседние народы?! или святые князья Дмитрий Донской, Александр Невский, царь Иван Грозный?! а как же Суворов, Нахимов, Скобелев и многие другие, полководцы, признанные миром?! — А. Б.) *Та армия, как и нынешняя, вышла из самого подлейшего общества* — это и в доказательствах уже не нуждается». (Выделено мною. — А. Б.)».

По Астафьеву, плоть от плоти русаку, русские солдаты — *скоты безмолвные*, офицеры — *скоты рыкающие*, а уж бездарнее и подлее высшего командования русской армии в Отечественной войне и придумать трудно, коль офицеры лишь тем и занимались, что развлекалось, брюхата полковых девок, да ради победы топило германца в солдатской крови. «Великая Отечественная война не была обусловлена какой-то исторической неизбежностью, — размышлял автор военного романа. — Это была схватка двух страшных авантюристов Гитлера и Сталина, которые настроили свои народы соответствующим образом... Ведь человечество, напуганное Первой мировой войной, и не собиралось воевать. <...> Я думаю, что все наши сегодняшние беды — это последствия войны. Тов. Сталин и его подручные бросили нас в этот котел... Конечно, Сталин — это никакой не полководец! Это ничтожнейший человек. <...> Если бы немцы не напали на нас, то через год-полтора мы бы напали на них и, кстати говоря, тоже получили бы в рыло...»

Эдуард Володин, русский философ, публицист, писал по сему поводу: «...И вот появляется мерзость под названием «Прокляты и убиты» — роман о Великой Отечественной войне и о ее солдатах и офицерах. Более подлого сочинения вряд ли найдешь и в мировой литературе, а тут ему устроили хвалебную критику и рекламу, подобно «тампексу» или «диролу без сахара». Оболгано было все, что свято для народа, оболган был сам народ и его героическая армия. <...> Пошли бесконечные интервью и

беседы фронтового телефониста об итогах Великой Отечественной войны, о тупости маршалов и генералов, о злобности солдат, о нелепости защиты Ленинграда. И, конечно, о рыцарстве немцев и гениальности их полководцев... В. Путин недавно вручал государственную (!) премию В. Войновичу, грязная и зловонная повесть которого «Похождения солдата Ивана Чонкина» может считаться прологом к «Проклятым и убитым» В. Астафьева! И не просто вручил, а еще сообщил В. Войновичу, что за десять лет Россия далеко продвинулась по пути нравственности и духовности...»

Славный русский критик Игорь Дедков так оценил роман «Прокляты и убиты»: «Его прежние срывы в злобу и мстительность превратились в норму повествования; оснатив же текст подлым матом, он усугубил изображаемое и всячески нагнетаемое, концентрированное непотребство; не умея вести сразу несколько героев, как бывает в романах, и удерживать их на сюжетной привязи, он сочинил скорее тенденциозный «физиологический очерк», чем что-либо художественное».

Не хлебнувшим фронтовой мурцовки, русофилам, что бранили военный роман Астафьева, можно и не верить, но можно поверить Евгению Носову, фронтовику, чудом выжившему после ранения, писателю не громкому, хотя талантом и не уступающему, а, случалось, по языковой живописи, по ясности духа и превосходящему енисейского друга. Так вот Носов, вслед за Астафьевым выглядывая в русском национальном движении фашизм и милитаризм киплинговского ...прохановского... толка, высоко оценивая последние Астафьевские романы, тем не менее дружески укоряет писателя: «Маленько переборщил ты и относительно высшего командования. <...> Были и держиморды, но были и чуткие, мыслящие командиры. Ну, скажем, как твой маршал Конев или мой генерал Горбатов... Е. Носов».

Позже Евгений Иванович, миролюбец-миротворец, уже довольно резко выразился о творчестве бывшего друга: «Мои отношения с Астафьевым тоже поостыли: он стал много врать и в своих публикациях, и в устных выступлениях. Я попытался урезонить его, но он надулся, пользуясь моментом, кляня

прежнюю власть, которая и сделала его писателем, и дала возможность повидать белый свет (бывал иногда в пяти странах за одну поездку), сейчас он перебежал в иной лагерь, где сладко кормят и глядят по шерсти за его услуги, получил возможность издать аж 15 томов своих сочинений, в том числе ужасного, нечистоплотного романа «Прокляты и убиты...»

СКВЕРНОСЛОВИЕ И СКВЕРНОМЫСЛИЕ

Жестко бранит Евгений Носов приятеля-писателя за вольный язык фронтовых повестей; и брань эта ...разумеется, дружеская... на тринадцати книжных страницах последнего тома. Вот лишь некоторые замечания:

«Дорогой Виктор! <...> О том, что рукопись производит сильное впечатление, я уже писал в предварительно посланной открытке. Поэтому сразу перейду к замечаниям. Ну прежде всего категорически возражаю против оголтелой матерщины. Это отнюдь не мое чистоплюйство, и в каких-то чрезвычайных обстоятельствах я допускаю матерок. Но, не походя, во многом без особой нужды, как у тебя. Это говорит вовсе не о твоей смелости или новаторстве, что ли, а лишь о том, что автор не удержался от соблазна и решил вывернуть себя наизнанку, чтобы все видели, каковы у него потроха. Когда ты пишешь: «Не страшай девку мудьями, она весь х. видела», то сквернит слух не твой герой, а сам автор. Тем самым ты унижаешь прежде всего самого себя. Ты становишься в один ряд с этой шпаной. А больше того, посредством этой отвратительной фразы ты унижаешь женщину вообще. Надо иметь в виду, что многие-многие читатели не простят тебе этого. Жизнь и без твоего сквернословия скверна до предела, и если мы с этой скверной вторгнемся еще и в литературу, в этот храм надежд и чаяний многих людей, то это будет необратимым и ничем не оправданным ударом по чему-то сокровенному, до сих пор оберегаемому. Разве матерщина — правда жизни? Убери эти чугунные словеса, а

правда все равно останется в твоей рукописи и ничуть не уменьшится, не побледнеет.

Стр. 50. «Песок хрустит в волосах, штанах, белье... и даже на мудях», — это говорит не какой-либо тип, а сам автор, что вообще недопустимо! <...>

Было бы жаль, если бы эту книжку покупали по такому доводу: «Слушай, давай возьмем. Тут такие у автора матерки! Чешет открытым текстом. Обхохочешься!» Возможно, так и будет: редакторы будут визжать от остроты ощущений, бегать с твоими листами по кабинетам, показывая значные места: во Астафьев дает! А еще горше, когда книга, уже напечатанная, одетая в благообразный переплет, будет стоять на полке. Мы уже уйдем в мир иной, а она будет стоять со всей этой скверной, обжигать душу будущих читателей не столько правдой, которая к тому времени может померкнуть, а немеркнушей дурнотой словесной порнографии.

«Как фамилия?» — «Моя фамилия — п. кобыля» (стр. 29). Подумай: эта грязь останется в твоей книге на долгие времена! Написанное пером уже не вырубить топором. Прости эту банальную истину. <...> Е. Носов».

Лютая неприязнь Астафьева к Советской империи, что ублажила писателя великими почестями, злое разочарование в соотечественниках скорбно отразилось на художественных достоинствах последних произведений писателя, и в язык на смену былой нежной живописи ворвалась соленая, перченная уркаганья брань. И о том письма опечаленных читателей...

«Виктор Петрович! Вот уж никогда не предполагала, что придется написать Вам (хочется и местоимение написать с маленькой буквы!), писателю, которого я почитала как великого, — такое письмо... Разумеется, Вы можете и меня, и мое письмо послать на три буквы, ведь, как оказалось, вы дружны с ними. Но как могли Вы изменить своему таланту, слову, литературе?! Нет! Так жить не хочется, тем более так говорить и читать про это. Сквернословие, поселившееся в Вашем творчестве, меня, да и не только меня,

просто потрясло! Не поэтому ли и само повествование поблекло, посерело, перестало БЫТЬ. Не надо приписывать эту матерщину «простым» людям. Вы и раньше писали не об аристократах; но как нежно, целомудренно. А ведь они, «простые люди», наверняка, умели пользоваться подзаборным лексиконом. Я с мамой вместе с бойцами отступала из занятого немцами пригородного г. Пушкина. Были: отчаяние, кровь; смерти, но не было мата.! Блокада.: были смерть, голод, холод, но не было мата! <...> Августа Михайловна Сараева-Вондарь».

«Уважаемый Виктор Петрович! <...> Надо ли всякую гадость тащить в свою книгу? Ведь это не свалка мусора. Омерзительна вот эта тетка, которая при родах детей в ногах давила и в штаны сикала (!). Кому нужен этот вульгарный реализм? <...> Стр. 13. Что это за «теплое молочко в заднице»? Каково сочетание «теплое молочко» и «задница»! На стр. 25 «дрищет». Эх вас на старости лет потянуло на вульгарности! Их много, таких слов, но причем тут литература? Так и до матерков недалеко. И это вы не отбрасываете. Не знаю, как у вас, а наши чалдоны до революции не матерились, стыдились родителей, детей, женщин, а если кто-то и выразится, то такому охальнику давали 15 суток за богохульство, просидеть их он должен был в холодном сарае и не работал. Тогда понимали, что наказывать человека трудом безнравственно. Самое тяжкое наказание – лишение свободы, отстранение от труда. <...> Извините за придирки, поучения. Но я не хочу, чтобы вы походили на Эдичку Лимонова, от которого воротит, как от туалета общественного. <...> Соловьев Геннадий Васильевич».

В послевоенных деревнях, что обретались в душевном здравии даже переживши голод, холод, воловий труд, а на западе — и фронт, матерщинников не жаловали, а старики и вовсе плевали вслед матюжникам: «И как ты, архаровец, эдаким поганым ртом хлеб ешь и мамку кличешь?!» Борзо вводя матерный жаргон в авторскую речь, не говоря уж о речи героев, писатель обольщался по поводу сермяжной правды жизни, а тем паче по

поводу речевой силы повествования, ибо сила народной речи, которой писатель прекрасно владел, не в матерке подзаборном, даже не в злополучном чо, почо, знаш, понимаш; сила и краса народной речи — в природном, цветастом образе, в притчевом и пословичном любомудрии.

Виктор Астафьев в письме к покойному критику Игорю Дедкову пытается оправдать матерный язык, но неубедительно: «...А вы судите за натурализм и грубые слова, классиков в пример ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие и не читали, а в нос суют. Не толкал посуху плот, грубой работы, черствой горькой пайки не знал Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров поучений не слышал; в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил... Иначе б тоже матерился. <...> Виктор Астафьев».

Может быть, Лев Николаевич, хлебнув мурцовки, и заматерился бы, как сапожник; но Федор Достоевский, прошедший каторгу и сибирскую ссылку, где вдоволь наслушался варначьей брани, мог бы ради жизненной правды изукрасить романы богомерзкими матами, но одолел искушение, оберег целомудрие русского художественного слова.

Забавно, что в былые времена Виктор Петрович осуждал скверномыслие и сквернословие в литературе, когда народная власть требовала от писателей благочестивого письма, когда и в страшном сне бы не приснилось, чтобы повествование вдруг, словно дерьмом человечьим, осквернилось матами: «Очень много матерщинников появилось открытых. Считается тоже новаторством. Очень много скабрезников» (1990 год). О том же толковал и в сочинениях: «Когда слабо сопротивляющегося Сиптымбаева уволокли в санпропускник, Сашка сердито забросил розу в кусты и выругался. Олег поморщился. Не любил он похабщины, не приучен к ней. Отец грузчиком был, но Боже упаси при сыне обляяться. И на войне

Олег сопротивлялся как мог этой дикости, которой подвержены были даже большие командиры и вроде бы иной раз щеголяли ею» (Рассказ «Сашка Лебедев»).

А вот отрывок из повести «Пастух и пастушка»: «Ползет солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь из него навстречу пуле или осколку, долгод путь обратный. Ползет, обливаясь ссохшиеся губы, зажав булькающую рану под ребром, и облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может — он между жизнью и смертью. Какова нить, их связующая? Может, она так тонка, что оборвется от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат разом делается суеверен. Солдат даже заискивающе-просительным делается: «Боженька, миленький! Помоги мне! Помоги, а? Никогда в тебя больше материться не буду!»

Валентин Распутин высоко ценил художественный талант Астафьева, даже когда енисеец переметнулся к властвующим хриstopродавцам, но укорял писателя: «Я думаю, если бы у Астафьева в последних романах не было мата, он что, хуже бы стал как писатель? Не стал бы хуже... Астафьев красочно матерился за столом — было одно удовольствие его слушать. (?..) Но, простите, литература — это совсем другое. В последних его книгах нет его веселости, хотя он и пишет «Веселый солдат». Зачем он увлекся этим? Есть у молодежи эпатаж, есть и у матерых писателей. Виктор Петрович сделал первую ошибку, заявив, что надо было сдать немцам Ленинград, дальше он уже пошел напролом. Эпатаж это или ожесточенность, не знаю. Я думаю, он сам от этого страдал. Уверен, что он страдал и от одиночества, и от ожесточенности, но уже отступить не мог от образа своего нового, от новой репутации. Он стал узаконенным матерщинником в литературе».

Намедни вычитал у православных любомудров о сквернословии, что и поведаю не дословно... Русская пословица гласит: «От гнилого сердца и гнилые слова», а Господь поучает: «...от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34); «исходящее из

уст — из сердца исходит: сие оскверняет человека» (Мф.15, 18). А посему сквернословие — признак избытка скверны в сердце. Если не очищено у человека сердце, а переполнено грехом, то льется из него сквернословие неудержимым потоком; и сквернослов повинен и в своей духовной смерти, и в гибели своих ближних. Скверна, изрыгнутая нечистыми устами, входит в уши и сердца ближних и даже ангельски светлых чад Божиих. Сквернословие рушит целомудрие и благопристойность, топит душу в пучине порока... Святые отцы, иереи, архиереи напоминали сквернословом слова Господа Иисуса Христа: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36 — 37). Всякому смертному предстоит на Страшном суде ответить не только за грехи, но и за грешные мысли, грешные слова. ■